

Ф. М.
ДОСТОЕВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

Благодаря летней поре в городе было пустынно и скучно. Редко кого можно было встретить на улице из публики, и только *единственный* в городе извозчик, стоявший уныло на площади, показывал, что и в Зарайске жители не лишены стремления к удобствам передвижения. На другой день мы уже были в деревне, где нас гостеприимно принял в свои стены небольшой старинный господский дом.

Несмотря на то что кругом свирепствовала холера, в особенности в Коломне, в ста верстах от нас, мы чуть ли не с раннего утра принимались за уничтожение превосходных яблок и груш, коими изобиловал фруктовый сад при господском доме. Другим лакомым блюдом были грибы: мы их уничтожали с неменьшим усердием, не обращая никакого внимания на запрещение их есть. Грибы составляли до такой степени характерную особенность нашего стола, что мы у себя в дневнике ввели рубрику «грибных» и «негрибных» дней. По-видимому, Бог хранил нас, и никто за все время пребывания в деревне не заболел даже признаками холеры.

В середине августа мы возвратились в Люблино и еще застали здесь Ф. М. Достоевского¹². Он прежде всего потребовал от нас дневник и торжественно прочитал его при всех. Некоторые места нашего юношеского произведения вызывали у него смех, и в общем он остался доволен и похвалил нас.

Но вот кончилось лето, все начали готовиться к переезду на зимние квартиры, выражаясь по-военному, и наше «люблинское» общество стало быстро уменьшаться. Вскоре уехал в Петербург и Ф. М. Достоевский, обещав при прощании, что будущее лето он снова проведет в Люблине. Конечно, это было для всех большою радостью, но, к сожалению, этой радости не суждено было осуществиться.

В том же году я отправился на Рождественские праздники в отпуск к своему брату в Петербург. Так как Ф. М. Достоевский, при прощании в Москве, приглашал меня его навестить, если я буду в Петербурге, то я счел долгом исполнить его желание, притом я имел маленькое поручение к нему от Ивановых. Однажды утром на праздниках я отправился к Достоевскому. Он в то время жил на углу Столярного переулка и Средней Мещанской, вместе с своим пасынком П. Исаевым, на матери которого, вдове Исаевой, Федор Михайлович женился еще в бытность свою в Сибири, но которая уже умерла незадолго

до моего знакомства с Достоевским. Эту первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервно-расстроенной женщины.

Вход в квартиру Достоевского был из-под ворот по холодной и грязноватой каменной лестнице. Квартира помещалась, насколько помнится, во втором этаже и состояла всего из трех небольших комнат, весьма скромно меблированных. Прямо из *передней* — столовая, направо — кабинет и спальня Федора Михайловича, налево — комната его пасынка. Я застал Достоевского за весьма невинным занятием: он сидел за чайным столом в средней комнате и набивал папиросы. Он очень радушно принял меня, подробно расспрашивал о семействе Ивановых, вспомнил о Люблине и все повторял, что никогда в жизни не проводил так приятно лета, как прошлое, которое на него подействовало самым благодетельным образом. Между прочим он мне сообщил, что романа «Преступление и наказание» он еще не кончил, что ему предстоит теперь двойная работа, так как он непременно должен для Стелловского (известного тогда издателя) к определенному сроку написать какую-нибудь вещь¹³. Это было причиною появления в свет повести Достоевского «Игрок», написанной, главным образом, под диктовку, ввиду спешности работы.

Пробыв еще некоторое время у Федора Михайловича, я с ним затем вместе собрался уходить. Когда мы спустились по лестнице, нам навстречу попал высокий господин, с длинными волосами, в золотых очках и в фетровой шляпе с широкими полями. Ф. М. Достоевский весьма дружески с ним поздоровался и, обращаясь ко мне, произнес: «Представляю вам нашего знаменитого поэта Аполлона Николаевича Майкова!» После этого оба писателя вышли вместе на улицу, и я с ними простился.

Это было в последний раз, когда я виделся с Ф. М. Достоевским. Перед отъездом в Москву я еще раз заходил к нему, чтобы проститься, но не застал его дома. С тех пор я с Достоевским более не встречался, но память о нем всегда будет жить в моем сердце, и если я решился поделиться с читателем моими юношескими воспоминаниями об одном из эпизодов в жизни Ф. М. Достоевского, то единственно в том предположении, что все, что касается жизни этого замечательного, многострадального человека и первоклассного русского писателя, будет также дорого каждому просвещенному русскому читателю.

что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну. <...>

Потом, когда мы на другой день помирились, то Федя мне объяснил, что мы поссорились оттого, что ходили на конгресс мира. Да и вообще на этом мирном конгрессе гораздо больше было ссор и провозглашали все ораторы не мир, а войну. Ночь я спала дурно, ночью проснулась и думала: что-то решит завтрашний день, неужели завтра будет для меня несчастье, неужели она здесь, неужели все мое счастье рушилось? Господи, я, кажется, умру, если это так будет. <...>

Пятница, 13 <сентября> (1).

<...> Сегодня я была целый день почти больна, но вовсе не физически, а морально, так было тяжело, все казалось грустно и мертво, так что, должно быть, я окончила бы физической болезнью, если бы вдруг не решила успокоиться. Я положила, что это все сочинила сама, что вовсе не следует печалиться, ничего не узнав, но все-таки я решила следить за Федей, чтобы знать, неужели он мне изменяет. Когда он после обеда пошел в читальню, я высмотрела, как он действительно туда вошел. Потом я отнесла домой книги и поспешила через другой мост в <Английский?> парк, из которого было очень хорошо видно, если бы он вышел, но дожидаться там, пока он прочитает все газеты, было бы, право, глупо, потому что иногда он читает часа два, а стоять на одном месте два часа очень тяжело, потому я решила тихонько пройтись мимо кофейни, вполне уверенная, что он меня и не заметит. Так и случилось, я прошла и увидела, что он смиреншенько сидит себе у стола и читает газету, так что тут мои подозрения решительно рушились. Я решила больше его не наблюдать и отправилась глазеть по магазинам. <...> Вечером мы немного гуляли и потом сели писать. Я очень рада, что Федя начал мне диктовать, по крайней мере работа теперь пойдет скорей и, может быть, мы скоро сможем отправить к Бабикову эту статью. Я с большим удовольствием писала, мне все вспоминалось прежнее время, когда я была еще его невестой. <...>

Четверг, 19 <сентября> (7).

Сегодня день превосходный, я постаралась пораньше закончить мое писание, и так как у меня довольно сильно болела голова, то я и решила куда-нибудь пойти погулять. Федя остался писать, а я отправилась. <...>

вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда радует, когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофее да о сахаре, а также когда он находит меня способной слушать его и говорить с ним и о других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, и толковал, что ей непременно следует поставить памятник. Не знаю, за что только? Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет.

Среда, 2 <октября> (20<сентября>).

<...> Пошли обедать, потом Федя пошел в кофейню, а я воротилась домой и отдыхала. Федя принес мне книгу «Последний из могижан», великолепную вещь Купера, которого я еще совершенно ни одного романа не читала.<...>

Понедельник, 7 <октября>(25<сентября>).

Утро сегодня тревожное, я решительно никак не могла дожждаться, когда наконец придет ^{10 часов}, чтобы я могла идти его встречать³⁶. <...> ^{Ровно в 10 часов} вышла из дому, но пришла на машину все-таки рано. Пришлось ждать с полчаса. Наконец поезд пришел. Я стояла у двери и смотрела, не идет ли Федя. Давно народ уже прошел, так что я почти была уверена, что Федя сегодня не приехал, как вдруг он показался у двери с страшно расстроенным лицом. Я сейчас поняла, что это значит полнейшая неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен, сначала он меня не видел, но потом заметил и с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его утешать. Он мне говорил: «Вот беда-то какая, вот беда. Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил, хорошо, что еще теперь тепло, а я бы мог простудиться». Мы вышли из вокзала и пошли, он держал меня за руку. Я стала его утешать, но он говорил: «Нет, ведь у меня было 1300 франков, в руках было третьего дня, я велел себя разбудить в 9 часов, чтобы ехать на утреннем поезде, подлец лакей не думал меня будить, и я проспал до половины двенадцатого. Потом пошел в вокзал и в три ставки все проиграл. Потом заложил свое кольцо, чтобы расплатиться в отеле. Потом на остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной дороге, в котором часу пойдет поезд, сказали в пять, нужно остановиться ночевать в Лозанне, а у меня всего

долгах, о неблагодарности семейства своего брата, как оно рассказывает, что будто бы дядя промотал их состояние, что у них было оно большое, а все пропало через дядю; как жених, дочь и мать собирали совет, желая отстранить его от дела, а когда он сам отстранился, то мать же пришла просить, чтобы он ее не оставил, а опять начал бы помогать, как это было и прежде. Говорил, что он после смерти брата начал один издавать журнал и положил на него 10 тысяч рублей, которые взял от тетки, назначенные ему по завещанию, а когда журнал не пошел, то деньги его лопнули и ему пришлось еще взять на себя ужасно много журнального долга и долга его брата ⁵⁰. Что в 63-м году, когда он принужден был заключить этот контракт с Стелловским (по которому он и обязался написать этот роман), то из полученных за это трех тысяч отдал за долги две тысячи, потом в продолжение зимы отдал еще долг на 1000 рублей, а теперь еще осталось у него тысяч на десять долгу; но именно из них он намерен сделать <нрзбр.> 2-е издание своего нового романа «Преступление и наказание», рассказал он про Корвин-Круковскую ⁵¹, говорил, что это очень прекрасная девушка, что она недавно уехала, теперь за границей, и он недавно получил от нее письмо. Рассказал о Москве, о своих многих родственниках, о Сонечке, Мусиньке, Юлиньке и о Елене Павловне, которую он представил за ужасную страдальицу и за удивительно нежную и добрую и <умную?> (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал) ⁵². Рассказывал про каторгу, про Петропавловскую крепость, про то, как он переговаривался с другим(и) заключенным(и) через стенку, и про очень, очень многое. Тут он мне в первый раз сказал, что он был женат и что жена его умерла, что она была страшная ревнивица, и показал мне ее портрет. Право, она мне очень не понравилась, какая-то старая, страшная, почти мертвая. Правда, он говорил, что она снималась за год до своей смерти и потому такая страшная. Мне она ужасно как не понравилась, и мне по первому взгляду показалось, что, должно быть, она очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив. Но в это время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил ее, то ничего не стал бы изменять, а что это за любовь, когда при ней возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких.

а говорит, что подумал: «К чему это она так раскутилась, денег мало, а она пирог покупает». Тут я ему сказала, что разве он не знает, что он сегодня рожден, он сначала мне не поверил, а потом сказал, что ведь и в самом деле это так. Я сказала ему, что так как он мне недавно говорил, что в день рождения у него всегда был пирог с клубникой, то мне хотелось, чтобы и в этот день был у нас пирог. Он, кажется, с большим удовольствием ел его, потому что он действительно был вкусный. Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет, родился он в 22-м году⁵⁷, следовательно, сорок пять, а он тогда в Москве, сердя Машеньку, говорил, что ему всего только сорок три года, та ужасно как на него сердится и бранит, зачем он себе уменьшает года. Так мы завтракали, я ему папиросницу не показала, а поставила ее на стол, чтобы он мог сам ее увидеть, потому что что мне было лезть с таким незначительным подарком вперед. Когда он начал зажигать печку, то зачем-то подошел к своему столу и, увидев папиросницу, сказал: «Что это такое? Это что значит?» Я отвечала, что это ему подарок. Он снял, стал смотреть, сказал, что это хотя не так хорошо сделано, но что все-таки очень хорошо, и в заключение поцеловал край папиросницы. «Где же ты взяла деньги, ведь это дорого стоит?» Я отвечала, что деньги прислала мне мама, еще 3 рубля исключительно на подарок, как я у нее и просила. «Ах ты подлая, ах ты подлая,— продолжал он меня ругать,— ведь надо же было подарить». Вообще видно было, что ему было очень приятно, что я ему подарила. Мне вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что он постоянно говорит, что ему в именины и рождения обыкновенно Марья Дмитриевна дарила разные вещи, ну а почему же я-то отстану от того обычая. Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро. Вообще утро у нас прошло чрезвычайно дружно.<...>

31-е число прошлого года, понедельник.

В этот день я пришла последний раз и принесла Феде конец повести, продиктованной вчера, так что сегодня мы уж не диктовали, а только разговаривали. Он был еще любезней и милей со мной, чем всегда; когда я вошла, я видела, что он вдруг поднялся с места и даже краска показалась на его лице. Мне это показалось, что, значит, он меня любит, что, может быть, даже очень любит меня. Говорили мы с ним сегодня очень много. Я нарочно, не

нием. Я говорила ему о моих мечтах и надеждах, об усилиях создать самостоятельно любимую деятельность, добиться заветной цели, — и о том, что женщине это особенно трудно...

И вероятно, он поверил моим словам, потому что слушал все время не прерывая и в свою очередь поразил меня неожиданным признанием:

— А знаете, какой я вам сейчас скажу комплимент? Уж наверное вы такого ни от кого не слышали.— И, помолчав, он прибавил:— Вы мне чрезвычайно напоминаете мою первую жену. Я ведь женат вторично, и от второй жены у меня уже двое детей. А впервые я женился еще в Сибири. И первая жена — вы и лицом и фигурой удивительно на нее похожи,— она, бедная, умерла от чахотки.

(Об этом сходстве он уже говорил при мне как-то Страхову: «Не правда ли, она ужасно похожа на Марью Дмитриевну?» Я не поняла тогда, кто это Марья Дмитриевна, но и Страхов тогда подтвердил: «Да, пожалуй... несколько напоминает».)

— Комплимент вам тут, конечно, не потому, что это была жена моя,— продолжал Федор Михайлович,— что же это за комплимент! — а потому, что была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Стрела, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок. Хотя когда я женился на ней, у нее был уже сын²⁴. Я женился уже на вдове. Ну, что же, довольны вы

моим комплиментом? — закончил он тоном шутки.

— Очень довольна, Федор Михайлович, только боюсь...

— Чего вы боитесь?

— Что вы во мне ошибаетесь, и я недостойна такого сравнения. Я не всегда такая.

— А вы будьте *всегда*, — внушительно, строго сказал он. — Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! Разжигайте это стремление в себе, как костер! Чтобы всегда пылал душевный огонь, никогда чтобы не погасал! Никогда!

— Ну, а вы мне все-таки не сказали, какой же у вас идеал? — снова начал он, помолчав. — Идея-то ваша какая?

— Идеал один... для того, кто знает Евангелие...

— А вы его знаете? — недоверчиво спросил он.

— В детстве я была очень религиозна и постоянно читала его.